

ПЕТР

ВАЙЛЬ

60-е

Мир
советского
человека



АЛЕКСАНДР

ПЕНИС

CoRpus

Петр Вайль

60-е. Мир советского человека

«Corpus (АСТ)»

1988

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Вайль П. Л.

60-е. Мир советского человека / П. Л. Вайль — «Corpus (АСТ)»,
1988

ISBN 978-5-17-137451-8

Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, началась в 1961 году XXII съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества. Книга «60-е. Мир советского человека» вошла в список «лучших книг нон-фикшн всех времен», составленный экспертами журнала «Афиша». В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-137451-8

© Вайль П. Л., 1988
© Corpus (АСТ), 1988

Содержание

Александр Генис. Долгое поколение	6
От авторов	9
Фундамент утопии	11
20 г. до н. э	11
Путем пирамиды	17
Соавтор эпохи	21
Интервенция	27
Березовые пальмы	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29



Петр Вайль, Александр Генис 60-е. Мир советского человека

© П. Вайль (наследники), 1988, 2013

© А. Генис, 1988, 2013

© В. Бахчанян (наследники), иллюстрации, 2013

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Издательство CORPUS®

Александр Генис. Долгое поколение

Эта книга началась с того, что мы остались без работы. Еженедельник «Семь дней» закрылся на 57-м номере по коммерческим соображениям, к которым редакция не имела отношения. Журнал делали втроем: мы с Вайлем и Бахчанян, и на всех приходилась одна жидкая зарплата. Мы получали ее от издателя в пластмассовом пакете из супермаркета «Вальдбаумс», набитом грязными долларовыми бумажками из газетных киосков. Чистые, думали мы, вспоминая Паниковского, издатель оставлял себе. Деньги делил лучше всех считавший Вайль. На каждого приходилось по 150 долларов, но куча выходила изрядная, бумажки не влезали в карман, и на нас косились всюду, где доводилось расплачиваться. Зато мы знали, что живем на деньги читателей в гораздо более прямом смысле, чем это водится. Через год, однако, грязные доллары кончились, чистыми с нами делиться никто не собирался, и мы оказались безработными – и беззаботными.

Страховое пособие, немногим уступающее зарплате, обещало шесть месяцев безделья. Сладким оно, как мы к тому времени уже твердо усвоили, бывает, если есть дело. Когда не от чего отлынивать, свобода обременительна, день бесконечен, и водка не лезет. Хорошо еще, что рецепт спасения нам был известен – книга. Вопрос: какая?

Ответ нашелся там, где и следовало ожидать: в библиотеке, откуда я с трудом притащил домой нарядный том Джона Пристли «Викторианская Англия». Осенило меня еще до того, как я успел досмотреть картинки: в советской истории была своя викторианская эпоха – та, в которой режим показал все, на что он способен.

«Викторианство» не совпадает с высшим творческим расцветом. В Англии он пришелся на правление другой королевы – Елизаветы Первой, в СССР – на 20-е годы. Главное тут не столько художественные, военные или политические достижения, сколько сентиментальные – внутреннее мироощущение самодовольной эпохи. Нам ведь очень редко нравится время, в которое мы живем, но иногда мы идем в ногу с календарем и верим в светлое будущее. Такой была либеральная и самоуверенная Англия Виктории. Таким был – точнее, казался многим – Советский Союз 1960-х. Это десятилетие отличалось от семи остальных относительно (Синявскому или Бродскому от этого было не легче) вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго реализовать потенции советского общества. Следствием короткого перемирия стало явление самого длинного в русской истории поколения «шестидесятников», которых мы знали лучше других, ибо жили среди них в эмиграции.

Обрадовавшись идее, я тут же позвонил Вайлю, горячо одобрявшему проект. Я даже знаю, когда это произошло: 18 ноября 1984 года. У меня лежит сохраненный на память о нашем решении листок отрывного календаря. Поскольку его автор, эсер Николай Мартьянов, с революции не менял занимательных фактов, развлекавших покупателей, то на обратной стороне листочка можно было прочесть о «волшебной радиоле, позволяющей слушать музыку без оркестра».

«История, – решили мы, – стучится в дверь, и нам остается ее только распахнуть».

Найдя себе дело и тезис, мы принялись искать форму, в которую бы уложилась наша смутная затея. Вот когда выяснилось, что мы не знаем, как пишется история. Более того, этого не знал никто: 60-е кончились совсем недавно и еще не ощущались, да и не были прошлым. Тогда я еще не читал Литтона Стрейчи, который заявил, что историю викторианства написать нельзя, ибо мы знаем о нем слишком много. Мы были в схожем положении и пытались нащупать выход в двух направлениях. Первый вел к книгам, второй – к людям.

Теперь, вооруженные целью, мы каждое утро отправлялись в славянское отделение библиотеки на 42-й стрит и сидели там до вечера, обложившись советской прессой 60-х годов. Конечно, мы ей не верили, но нас интересовало, как она врала и о чем умалчивала. Ведь

цензура, рассуждали мы, не только вычеркивает, но и творит, создавая искаженный слепок с действительности. Для опытного глаза (а каким еще он может быть у выросших в Советском Союзе?) ложь партийной прессы обладала сотнями степеней и оттенков. Она не могла не проболтаться о главном, и мы сторожили существенное. Не для того, чтобы уличить, а ради того, чтобы нащупать болевые узлы эпохи. Каждый из них связывал идеологическую тему с конкретным сюжетом в один миф и волей-неволей делал всех современниками. Раз миф тотален, считали мы, он задевает всех, даже тогда, когда его демонстративно игнорируют. День за днем мы уминали сырую и фальшивую реальность, словно рыхлый снег в твердый снежок, которым можно разбить матовое стекло, заслонявшее прошлое.

Так скучная библиотечная работа стала захватывающей охотой, которой мы заразили друг друга и соратника Бахчаняна. Теперь мы ездили на 42-ю втроем и радостно делились находками. Вагрич, впрочем, предпочитал предыдущую – сталинскую – эпоху, где он сторожил образцы грозного державного сюрреализма и абсурдного концептуального безумия. Во всяком случае, он не без зависти разглядывал нечеловечески роскошное издание «Стихов о Сталине» Джамбула.

У меня, кстати сказать, был знакомый спортивный журналист, который лежал с «Джамбулом» в кремлевской больнице. «Казахский акын, – рассказывал приятель, – был старым московским евреем, которого распирала правда, но, возможно, он страдал манией величия».

Бахчанян охотно участвовал в нашей работе еще и потому, что она напоминала его собственный метод. Вагрич резвился в тылу врага, используя, как в каратэ, силу противника. Его коллажи лучше всего комментировали эпоху, когда он давал ей самой высказаться, а нам удивиться, ужаснуться и рассмеяться. Мы усвоили его технику безопасности в обращении с мифами, учась не разоблачать, а вскрывать их, как банки с консервированным временем.

Постепенно семантическое облако 60-х сгущалось в оглавление, но мы не торопились его оформить на бумаге, ибо хотели проверить себя на практике. Вокруг нас жили герои той эпохи, и почти каждый дал нам по огромному – многочасовому – интервью. В этих разговорах мы обкатывали центральные темы нашей книги и того времени с теми, кто их таковыми считал – или не считал. Аксенов соглашался, Комар и Меламид нет, Бродский говорил странное. Он, например, ругал космонавтику, не находя в ракете антропоморфного облика раннего самолета, который он, расставив руки, очень похоже изображал.

К несчастью, теперь уже невозстановимые записи всех без исключения бесед пропали. Из экономии мы покупали кассеты по четыре штуки на доллар, не догадываясь, что дешевые пленки быстро осыпаются вместе с записанным голосом.

Так или иначе, нам удалось сверить устную историю с письменной и внести поправки в уже установившуюся концепцию 60-х. Она напоминала американские горки: вверх-вниз, от надежд к разочарованию, с 1961 по 1968-й. Прочертив маршрут и распределив остановки, мы готовы были приступить к делу, но тут кончилось пособие по безработице.

В ответ на выпад судьбы и правительства мы изобрели парный коммунизм. Устройство его оказалось непростым, но действенным. Разделив 24 главы будущей книги по жребию (и я никогда не скажу, кому какая досталась), мы отвели на каждую по месяцу. Пока один, погружившись по уши в материалы, писал свой урок, второй зарабатывал деньги – на «Радио Свобода», в калифорнийской газете «Панорама» и всюду, где хоть что-то платили. Гонорар складывался и делился пополам. Сейчас даже мне кажется странным, что эта наивная система работала без срыва целых два года. Честно говоря, я этим до сих пор горжусь.

Готовую рукопись мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существующих – «Ардис». Его хозяйка Эллендея (Карл уже умер) Проффер приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру Паперному, чьей «Культурой Два» мы восхищались и которой завидовали. В 1988-м книга «60-е. Мир советского человека» вышла в свет – через четыре года после того, как была задумана.

За этот срок разительно изменился объект нашего исследования: из агрессивного застоя страна перешла к радикальным реформам. Мы писали о прошлом с легкой ностальгией, оно оказалось актуальным – перестройка решала те же проблемы, которые ставили 60-е. Хуже, что они остались нерешенными и сейчас, когда четверть века спустя выходит новое издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической.

Говорят, что когда история не развивается, она длится.

Александр Генис

Нью-Йорк, июнь 2013 года

От авторов



Когда в 1984-м мы начали работать над этой книгой, 60-е годы казались замкнутым, завершённым историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя.

Перестройка смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, в 60-х мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций.

Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств.

Эта книга посвящена не истории первой «оттепели», которую принято датировать 1956–1964 годами, а эпохе 60-х, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединённый многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.

Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени – прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны,

критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м не критично. Что ж, наши заблуждения – тоже характерная примета времени.

Еще один важный вопрос: кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?

Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.

В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.

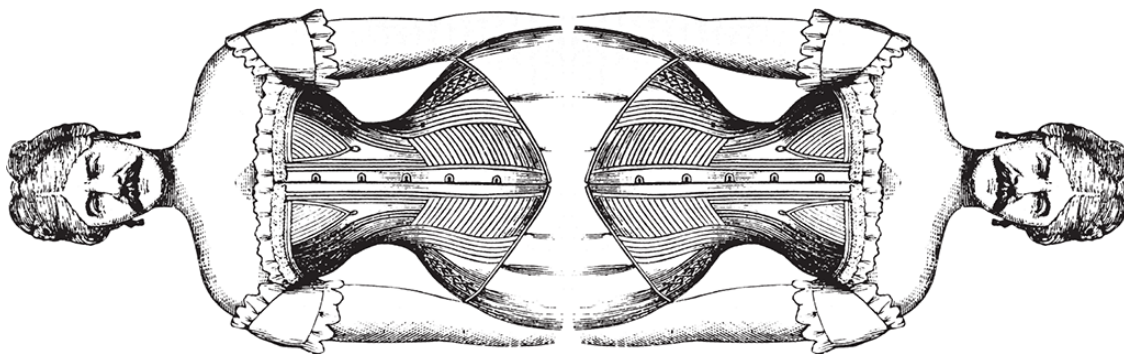
Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о 60-х, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги – устные свидетельства современников. Особую помощь, дав авторам обстоятельные интервью, оказали: М. Азбель, В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, С. Волков, А. Гладилин, С. Довлатов, В. Комар и А. Меламид, Л. Копелев и Р. Орлова, К. Кузьминский, Л. Лосев, Ю. Любимов, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, В. Паперный, А. Синявский, Б. Спасский, И. Сулов, Б. Фрумин, О. Целков, М. Шемякин, Б. Шрагин.

Приносим также благодарность Б. Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний.

Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки.

*Петр Вайль, Александр Генис
Нью-Йорк, октябрь 1988 года*

Фундамент утопии



20 г. до н. э Коммунизм

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР.

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзови-стах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко¹.

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, – наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в

¹ См.: Правда. 1961. 30 июля.

советской периодике практически не обходились без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («Кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии – Программа КПСС – была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо – не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)². Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, – что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет... При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»³. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам. Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок – 20 лет.

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»⁴. Именно так – всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»⁵

² Программа Коммунистической партии Советского Союза. Часть вторая, V, 1, в). Правда. 1961. 30 июля.

³ Ефремов И. *Туманность Андромеды*. М., 1984. С. 5.

⁴ Программа КПСС. Введение.

⁵ Там же. Часть вторая, VII.

«Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.

- Читали?
- Слышали?
- Мы будем жить при коммунизме!⁶

Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

- Читали?
- Слышали?
- Мы будем жить при коммунизме!

Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт – социалистом»⁷. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.

Сам факт существования Программы – при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях – опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Так же и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, – это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

- кто не работает, тот не ест;
- каждый за всех, все за одного;

⁶ Крокодил. 1961. № 24.

⁷ Цит. по: Ленин В. И. *Полн. собр. соч.*: В 55 т. 5-е изд. Т. 1. С. 271.

– человек человеку – друг, товарищ и брат⁸.

Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния»⁹.

Программу КПСС читали немногие. О восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста – то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих Программу, но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело – сфера воображения.

Поэт Долматовский вопрошал:

Великая Программа, дай ответ,
Что будет с нами через двадцать лет?¹⁰

Вопрос кажется глупым: ведь как раз про это в самой Программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, для полета фантазии.

Лирик мечтал о том, что «все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой». Он складывал в романтический рюкзак «и Моцарта, и стынть есенинских берез»¹¹, отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничеству.

Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. «Нигде не скажут «нет мест». Задумал жениться – мать не спросит с удрученным видом: «А где жить-то будете?»¹²

Прямое воплощение идеалов 17-го года виднелось неисправимому комсомольцу. «Глаза Программы смотрят нам в глаза, в них – нашей революции метели»¹³.

В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии: «При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фельетону!»¹⁴

Поэтическая энциклопедия тем и прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил что ему нужно в «Евгении Онегине».

Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой – то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фельетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, равнодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это так буквально и изображалось: перрон, а на нем пестрый стилига, синеносый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тунеядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцеватыми пассажирами. Паровоз уезжал туда, где царствовали нестяжательство, братство, искренность. В новую Утопию.

Тридцатого июля 1961 года, когда страна прочла проект Программы КПСС, построение коммунистического общества этим и закончилось – то есть его построил каждый для себя, в

⁸ Программа КПСС. Часть вторая, II, д).

⁹ Там же. Часть вторая, V, I, в).

¹⁰ Юность. 1961. № 9.

¹¹ Там же. Автор – Э. Иодковский.

¹² Там же. Автор – Евг. Наврот.

¹³ Там же. Автор – Вяч. Молодяков.

¹⁴ Крокодил. 1961. № 25. Автор – Л. Ленч.

меру своего понимания и потребностей. Во всяком случае, страна так или иначе применила Программу для насущных надобностей.

Жизнь предлагает художественные детали в загадочном обилии. 30 июля 1961 года в том же номере «Правды», где был напечатан текст Программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного 22-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя:

Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...¹⁵

Совпадение, конечно, символическое. Но вряд ли кто по-настоящему надеялся Программу КПСС осуществить – «ни теперь, ни впоследствии». Сам процесс, который именовался (всерьез или иронически) строительством будущего, продолжал творить небывалый в мировой истории феномен – советского человека.

¹⁵ Ленин В. И. *Указ. соч.* Т. 22. С. 117.

Путем пирамиды Космос

Российское коллективное сознание основывалось на двух главных символах: войне и храме.

Идея народной войны была мощной движущей силой и для рати Александра Невского на Чудском озере, и для войска на Куликовом поле, и для ополчения Минина и Пожарского, и для партизан 1812 года. И в советской России XX века священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до победного конца.

С храмом дело обстояло хуже. Старые храмы упразднились с верой. Если и была иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения, то она стремительно исчезла – ввиду приземленной утилитарности решаемых в этих учреждениях задач.

Со старыми храмами поступали по-разному. Наиболее пылкие и идеалистически настроенные революционеры рушили церкви – не понимая, что активно творят мученические образы. Более практичные и трезвые превращали храмы в картофелехранилища и детские дома, не только используя готовую постройку, но и идя по пути осквернения святыни, что всегда более действенно, чем разрушение. В отдельных случаях власти поступали даже с остроумием и фантазией. Гордость России – воздвигнутый в честь победы над Наполеоном московский храм Христа Спасителя – не просто сровняли с землей. На его месте соорудили не клуб, не казарму, не райком – а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой.

Но вертикальная картина мира присуща нашему сознанию еще больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен (например, суша – водой), а взгляд вверх безбрежен.

Кромлехи неолита, зиккураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедралы Европы – все это возвышало человека, устремляя его ввысь. И в той иерархии ценностей, которая неизменна столько, сколько существует человек, верх всегда противостоит низу со знаком плюс, как день – ночи, правый – левому, белый – черному, теплый – холодному. Универсальный знаковый комплекс заставляет человека задираТЬ голову, даже если он опасается, что свалится кепка.

Культовые сооружения, призванные заменить утраченные храмы, так и не были построены в советской России. Магнитка и ДнепрогЭС были слишком служебными конструкциями: они варили обыденный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея – без утилитарной нагрузки.

Нужду в подвиге восполнил космос, тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролития. Да и вообще это деяние было универсальным – потому что не принадлежало простому смертному. В самих образах космонавтов причудливо смешались демократические запросы народного государства и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями, из соседнего двора, обыкновенными, советскими. С другой – их окружали таинственность небожителей и высокие достоинства слугителей культа.

Герои в Советском Союзе всегда призваны выполнять широкую просветительскую задачу. Допустим, токарю совершенно недостаточно ловко точить болванки: передовой токарь еще играет на виолончели. Рекордсмен не просто быстро бежит, но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму. Оперный бас берет на две октавы ниже всех других басов и при этом награжден медалью «За отвагу на пожаре». По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов Политбюро не известно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. (В скобках стоит

вспомнить о попытках низвести богов до героев. Так, о Ленине сообщалось, что он ежедневно в Швейцарии совершал по горным кручам прогулки в 70 и более километров. Мао Цзэдун погрузился в Янцзы, побив все мировые рекорды, при том, что во время заплыва дружески беседовал с рядом плывущими товарищами. Эти попытки были забыты как снижающие образ верховного существа.)

Космонавты – вознесшиеся буквально выше всех – должны были занимать промежуточное положение, сочетая рабоче-крестьянскую доступность и принадлежность к высшим сферам. Их начисто лишили даже подобия недостатков, и следует только дивиться тому, что первым в космос отправился человек с сомнительной по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым – человек с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось наилучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин как раз и утер нос своим однофамильцам-князьям, лишний раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детях – Германе и Земфире – бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путем была внедрена ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов.

В начале 60-х существовало даже некое противостояние Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй – интеллигенции, покоренной иноземным именем, более заметной задумчивостью и его играющим на скрипке отцом. Но затем, после многочисленных полетов, стало ясно, что энциклопедичность знаний присуща всем космонавтам без исключения. Биограф новых героев пишет: «Как-то в беседе с Юрием Гагариным зашла речь о профессии космонавта. Он говорил, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт...»¹⁶

Люди – от самых обычных до подвижников и героев – совершают по жизни горизонтальный путь. Путь вертикальный – удел мифологических персонажей.

В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причем еще до полетов человека. Самые популярные собачьи имена в России – иностранные, вроде Рекс или Джульбарс, но полетели наши, русские, теплые: Лайка, Белка, Стрелка и совсем уж домашняя Чернушка. Американцы опрометчиво запустили в космос обезьяну, которую нельзя полюбить, потому что она карикатура на человека, а не друг его, как собака.

Так же располагали к народной любви и космонавты-люди. Без объяснения причин каждый знал, что они добрые и умные. Например, о Павле Поповиче писали: «В дневниках Генриха Гейне он как-то прочел одну фразу...»¹⁷ Это производило впечатление: не стихи ведь Некрасова, а никому не ведомые дневники Гейне!

С другой стороны, никогда не пресекалась иная тема: о простых парнях.

Глухая ночь. Глубокий сон.
Два сердца бьются в унисон.
Рассвет невозмутим и тих.
Горячий завтрак на двоих¹⁸.

В этих стихах верен расчет на замирание: горячий завтрак, как у всех. Как Ахиллес делается ближе, но не ниже из-за своей уязвимости. Как Ленин: «Он, как вы и я, совсем такой же...» – и именно от таких слов встает неземной образ исключительности.

Космонавту № 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. С его даром улыбки – шире, чем у американских президентов, – он стал вечным символом и принял божествен-

¹⁶ Ребров М. *Космонавты*. М., 1977. С. 9.

¹⁷ Там же. С. 43.

¹⁸ Стихи Валентина Вологодина. Там же. С. 23.

ные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. Причем понятие не такое, какими вошли в историю имена Моцарта как символа творчества, Ньютона – гения, Гитлера – злодейства, Макиавелли – коварства, Колумба – поиска и открытия. С именем Гагарина связано нечто неопределенное, имеющее отношение к высшей степени. Евтушенко мог написать про Боброва: «Гагарин шайбы на Руси»¹⁹, и этот образ необъясним, но понятен. Просто что-то очень хорошее, носящее всеобщий характер.

Это целиком соответствует тому характеру, который имело освоение космоса для советского общества.

Разумеется, присутствовал политический момент соревнования двух систем. Вроде бы там, в Америке, и нейлоновые рубашки дешевые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, чего не видели – того не знаем. Полет же в космос – факт непреложный, как непреложно и то, что они запустили своего Джона Гленна только через 10 месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова.

Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавшихся еще раньше, в 57-м, когда СССР запустил спутник. На смену трезвому практичному Эйзенхауэру пришел размашистый гуманитарный Кеннеди, и космическая лихорадка началась. Она и закончилась почти одновременно. В Советском Союзе такой финальной вехой можно считать смерть Гагарина в 1968 году, хотя она и не имела никакого отношения к космическим полетам. Просто с уходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше в СССР возбуждения в этой сфере не наблюдалось. Да, собственно, и не от чего было, так как полеты приняли отчетливо пропагандистский характер: то новый рекорд длительности, то в ракету посажен монгол – гальванизация идеи была уже невозможна.

Американцы закончили на торжественной ноте. 21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, и Штаты взяли реванш.

Но Армстронг явился в конце первого этапа космической эры, а до него мир обомлел от советских побед. И казалось, что это не просто полеты куда-то в небо, за какими-то научными исследованиями. Казалось, что сам прорыв – значителен и символичен. Так оно, конечно, и было. Интересно, что универсальность освоения космоса для всего общества сформулировал все-таки американец – президент Джонсон. Он сказал: «Если мы посылаем человека к Луне, то, значит, можем помочь старушке с медицинской страховкой»²⁰.

Научно-технический прогресс как панацея от всех бед – мысль не новая. Еще немного, еще чуть-чуть – и заколосятся груши на вербе, и добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия.

Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения. Разоблачен Сталин, напечатан Солженицын, выпущены транзисторные приемники, идет разговор об инициативе и критике. Выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы. Ощущение силы и беззаветной веры в нее сказывалось во всем: в стихах, сибирских стройках, первых хоккейных успехах.

Вовсю звенела капель оттепели, ораторы рассуждали о возврате к ленинским нормам, пример молодой Кубы возрождал светлую память революции. И сама революция – в соответствии с техническим веком – воспринималась космично:

Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,

¹⁹ Евтушенко Е. *Идут белые снега...* М., 1969. С. 409.

²⁰ Цит. по: The New York Times Book Review. 1985. 7 апреля. С. 409.

Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня – государства...
...Радуюсь солнцу, смотрели сквозь кожу²¹...

Так понимали революцию не только Хлебников, но и Платонов, Заболоцкий, Циолковский: как тотальное освобождение всего – даже атомов. Циолковский, почитаемый в СССР лишь как первый теоретик космических полетов, излагал мысли о полном преобразении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединятся в новом, более совершенном и гармоничном сочетании.

Подсознательно нечто подобное ощущалось: сама идея освоения космоса возвышала и облагораживала человека. И никто, разумеется, не обращал внимания на разговоры о научных экспериментах. От этого как раз хотелось отмахнуться, обратив свои душевные силы именно к чистоте и бескорыстия идеи. Как обращал просветленный взор человек иных эпох к пирамиде, пагоде, собору – символам стремления к высшим образцам, которые помогут преобразить жизнь внизу по своему идеальному подобию.

Двенадцатого апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его – как мужчина оплодотворяет женщину, но в этом было целомудрие и красота древнего мифа. Тогда, в 61-м, это действие стало высшей – буквально – точкой порыва к свободе и задало высокие стандарты стремления к ней.

Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полеты продолжают. Дело, вероятно, в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрушение ее.

В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко от земли, но люди вытирали о него грязные руки, и оно ушло ввысь.

²¹ Велимир Хлебников. *Я и Россия*. Цит. по письму Н. Заболоцкого К. Циолковскому от 18 января 1932 г. В кн.: Заболоцкий Н. *Избр. произв.*: В 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 237.

Соавтор эпохи Поэзия

Главным поэтом эпохи был Хрущев. Стихов он, правда, не писал – только мемуары. Поэты-автократы известны современной истории. Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Агостиньо Нето, Юрий Андропов. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью – очень плохие. «К счастью» – потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы.

Хрущев стихов не писал, но был поэтом в высшем смысле, дав творческий импульс, выразившийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

В словах и делах Хрущева была простота, которая вдохновляла лучшие образцы русской гражданской поэзии:

И на обломках самовластья напишут наши имена, —

предсказывал Пушкин.

Пускай нам вечным памятником будет
Построенный в боях социализм, —

завещал Маяковский.

Нынешнее поколение советских людей
Будет жить при коммунизме! —

обещал Хрущев.

В области стихотворной формы Хрущев пошел своим путем, предпочтя хромой хорей заезженному российскому ямбу.

Задача и цель предложенной с партийной трибуны программы была так или иначе ясна каждому. Но как невозможно объяснить в любви текстом Морального кодекса, так и вся повседневная жизнь требовала иного, чем сухие директивы, словесного выражения.

Хрущев был главным поэтом эпохи. А ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко.

Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу – что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее все становилось. Это противоречило неторопливой российской мудрости: «Тише едешь – дальше будешь», «Жизнь прожить – не поле перейти...» Ходячие истины пословиц и поговорок, кажется, полностью исчерпывают потребность в анализе событий и явлений – благодаря своей языковой завершенности, абсолютной, как идеальный шар, гармоничности. На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира, и Евгению Евтушенко удалось эти формулы найти.

Похоже, он очень рано осознал свое назначение. Характерно, что начинал Евтушенко с программных и соответствующих времени стихов. Шло время холодной войны, и 16-летний Евтушенко в 1949 году дебютировал в «Советском спорте» антиамериканскими стихами. Характерно и то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется, имели значение и личные пристрастия поэта, который чуть было не сделал профессиональную карьеру футболиста. На протяжении десятилетий Евтушенко писал стихи о боксе, альпинизме,

конькобежном спорте. (Заметим в скобках, что другой народный поэт послевоенной России, Владимир Высоцкий, тоже много и охотно писал о боксе, альпинизме, конькобежном спорте.)

Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии уже не оставалось лирики, и он, Евтушенко, стал первым лирическим поэтом оттепели. И на этом пути он единственный раз отступил от требований эпохи. Забылся. Забыл, что ведет конспект.

Сборники «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Взмах руки» (1962), «Нежность» (1962) сохранили лирические стихи Евтушенко – ту поэзию, до уровня которой он так и не поднимался в следующие годы. Но те строки, вместе с пришедшими несколько позже песнями Окуджавы, впервые за много лет показали отвыкшим от нормальных слов людям, что лирика – это не только когда ждут пропавшего без вести на фронте.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет:
у каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее²².

И стихов, похожих на эти, тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили сотычными тиражами. Все это было захватывающе ново:

А после ты любишь, а может быть, нет,
а после не любишь, а может быть, любишь,
и листья и лунность меняешь на людность,
на липкий от водки и «Тетры» пакет²³.

Получалось совсем как у Ремарка, но чувства поэта были незаемными. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен.

Целое поколение советских людей твердило, как заклинание:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растерянна...²⁴

А потом в стране началась лавина лирических стихов. И уже стало трудно разбирать, чем Евтушенко отличается от Эдуарда Асадова. Тогда, в начале 60-х, это было ясно безусловно. Хотя и тогда стихи Евтушенко и Асадова были похожи. Но первым руководил импульс передовой идеологии. В лирике это означало прославление любви вплоть до добрачных связей и супружеской измены. А Асадов привычно и надоедливо бубнил: «Они студентами были, они друг друга любили» – причем так, чтобы было ясно, что «любили» в самом бестелесном значении.

Но хотя высшие поэтические достижения Евтушенко остались именно в области интимной лирики, он рожден был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского волнения. Его, как и Маяковского, увлекла стихия преобразований. При этом Евтушенко,

²² Евтушенко. С. 124.

²³ Там же. С. 90.

²⁴ Евтушенко Е. *Наследники Сталина*. Лондон, 1964. С. 94.

будучи поэтом более скромного дарования, в каждый момент полностью контролировал свои поступки.

Моя поэзия, как Золушка,
забыв про самое свое,
стирает каждый день, чуть зорюшка,
эпохи грязное белье²⁵.

В этой декларации все честно и верно – в первую очередь удручающее качество стихов. Поэзия Евтушенко все чаще забывала про самое свое, все больше ее влек конспект эпохи. Поэт находил адекватные задачи дня, формулировки, не упуская ничего важного и значительного.

Советский Союз увлеченно следил за событиями на Кубе:

Фидель, возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы!²⁶

Проникновение западной массовой культуры волновало умы:

Что мне делать с этим парнишкой,
с его модной прической парижской,
с его лбом без присутствия лба,
с его песенкой «Али-баба?»²⁷

Интеллигенция воевала с ретроградами за передовое искусство:

Мы лунник в небо запустили,
а оперы в тележном стиле²⁸.

Страна потрясена хрущевскими разоблачениями и страшится повторения сталинизма, и Евтушенко пишет в «Наследниках Сталина»:

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой:
удвоить, утроить у этой плиты караул...²⁹

Ширится и растет борьба с бездельниками и тунеядцами:

Закон у нас хороший есть:
«Кто не работает – не ест!»³⁰

Молодежь живо интересуется Западом:

Этой девочке ненавистен

²⁵ Евтушенко Е. *Собр. соч.*: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 284.

²⁶ Цит. по: Аннинский Л. *Заметки о молодой поэзии*. Знамя. 1961. № 9.

²⁷ Евтушенко. *Идут белые снеги...* С. 236.

²⁸ Евтушенко. *Наследники Сталина*. С. 106.

²⁹ Правда. 1962. 21 октября.

³⁰ Юность. 1963. № 9. С. 57.

мир – освищенный моралист.
Для нее не осталось в нем истин.
Заменяет ей истины – «твист»³¹.

Всегда болезненна была для России проблема еврейства и антисемитизма:

Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит³².

Этому стихотворению Евтушенко обязан своей мировой славой. «Бабий Яр» был моментально переведен на все языки мира. Крупнейшие газеты мира дали сообщение о «Бабьем Яре» на первых страницах – «Нью-Йорк таймс», «Монд», «Таймс»... Западный мир, в котором отношение к евреям стало пробным камнем цивилизации, пришел в восторг. Буквально в один день Евтушенко стал всемирной знаменитостью. Хотя за год до этого поэт объездил множество стран, читал стихи в США, Франции, Англии, Африке, только скромная публикация в «Литературной газете» 19 сентября 1961 года сделала Евтушенко суперзвездой. (Интересно, знал ли он, что на этот день выпал Йом Кипур – Судный день, в иудаизме день покаяния в грехах?)

Алексей Марков, напечатавший в газете «Литература и жизнь» отповедь «Бабьему Яру»³³, вынужден был отменить свои поэтические вечера из боязни физической расправы. По рукам ходили стихи – ответ Маркову.

И вот другой садится за чернила,
но по бумаге яд в стихах разлит.
В стихах есть тоже пафос, страстность, сила,
звучат слова «пигмей», «космополит»...³⁴

Космополит Евтушенко мог торжествовать – он стал народным трибуном. Именно тогда его стали критиковать, ругать, поносить по-настоящему. И именно тогда на его выступление однажды пришли 14 тысяч человек. Именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграммистов мог с полным основанием почтительно пошутить:

То бьют его статью строгий,
то хвалят двести раз в году.
А он идет своей дорогой
и бронзовеет на ходу³⁵.

Это была слава.

В отличие от Есенина, который хотел «задрать штаны бежать за комсомолом», Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны: тогда поэты были во всем первыми – брюки у них были самые узкие, идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Один западный корреспондент, заморожен-

³¹ Евтушенко Е. *Нежность*. М., 1962. С. 48.

³² Литературная газета. 1961. 19 сентября.

³³ Литература и жизнь. 1961. 23 сентября.

³⁴ Цитируем по памяти.

³⁵ Эпиграмма напечатана в журнале «Юность» в 60-е годы. Цитируем по памяти.

ный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить временное правительство. Наверное, это так – но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в фарватере эпохи, которая требовала лозунга. И толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный вполголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера – поэта.

И лидер так же нуждался в аудитории, как и она в нем. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные – благо процветала ассонансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то «евтушенковской» рифме³⁶. Но все это неверно, да и не важно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончания слов.

Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторики, но действовали они именно в соответствии с их указаниями. «Оценить речь, основанную на знании, есть дело образованных, а здесь, перед толпой, это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем»³⁷.

Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви!³⁸ —

это было доступно.

Установка на риторику, на помощь трибун давала немедленные результаты, разочаровывая будущих читателей. И тут все предусмотрел Аристотель: «Речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискренними в руках; причина этого та, что они пригодны только для устного состязания»³⁹. В соответствии с законами риторики, заботы о точности и красоте стиля были не только необязательны, но и излишни – как не следует заботиться о прорисовке каждого листика при изображении отдаленного леса.

Это было время самородков. Стихийные бунтари темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Мог же Евтушенко написать – да еще для французского журнала! – что Артюр Рембо перестал писать стихи, потому что стал работником⁴⁰. Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе, но и причина здесь перепутана со следствием.

Дело тут, видимо, в том, что то же требование эпохи, которое побуждало к интимной лирике и гражданскому горению, требовало и красоты – в любом ее, самом экзотическом, воплощении. В стихи Евтушенко с начала 60-х хлынули потоки кальвадоса, перно, атлантических волн, тихоокеанских прибоев, в которых, как в водовороте, закружились работоторговцы Рембо, парижские красавицы, африканские пальмы. Все это было заманчивое, хоть и не наше – и только постепенно становилось нашим, как для Маяковского, который считал себя «в долгу перед бродвейской лампионией». Евтушенко ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателем впечатлениями о твисте, луковом супе, встрече с Хемингуэем.

В «Автобиографии» поэта, в истории публикации «Бабьего Яра», есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает, как ждал из типографии свежего номера «Литературки» со стихами, как целовался с печатниками, как потом «сел со своим приятелем в свою

³⁶ Евтушенко Е. *Автобиография*. Лондон, 1963. С. 40.

³⁷ *Античные риторики*. М., 1978. С. 17–18.

³⁸ Евтушенко. *Идут белые снеги...* С. 209.

³⁹ *Античные риторики*. С. 149.

⁴⁰ Евтушенко. *Автобиография*. С. 11.

старенькую машину. И вдруг – о, чудо! – я обнаружил на сиденье бутылку «Божоле»... Мы откупорили бутылку, выпили ее прямо в машине»⁴¹.

Так тогда было нужно. Именно французским вином должен был праздновать победу над антисемитами настоящий русский поэт.

Боль и ответственность за все на свете были насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Беллу Ахмадулину, когда она сказала: «Революция больна. Революции надо помочь»⁴². И они помогали той революции, которая потом предала их.

Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое – талант и поэтическое мастерство. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики. Хотя и мог. По своей поэтической потенции – несомненно, мог. Но он был лишь соавтором эпохи.

Хрущев, по чьему личному указанию были напечатаны в «Правде» в 62-м году «Наследники Сталина», может в той же мере, что и Евтушенко, считаться автором этих стихов. Потому что кроме факта опубликования в «Правде» других достоинств у «Наследников Сталина» нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость – успеть сделать все как надо. Не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущев с поэтическим легкомыслием разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко:

Весь мир – кукурузный початок,
похрустывающий на зубах!⁴³

Они были соратники и соавторы – поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко.

В своем последнем всплеске – «Братской ГЭС» – Евтушенко сделал попытку эпоса, а на деле создал несколько хороших лирических стихотворений, спрятанных в 5000 строк про турбины и пирамиды.

Тот импульс, который возносил поэта к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалом было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нем. Наоборот – общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.

Кипение мощной натуры не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит. Евтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений:

Мне страшно, мне не пляшется.
Но не плясать – нельзя⁴⁴.

В Большой Советской Энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано: «В лучших стихах и поэмах Е. с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности»⁴⁵.

Это правда. Слишком безусловна была зависимость поэта от эпохи.

⁴¹ Там же. С. 136.

⁴² Там же. С. 106.

⁴³ Евтушенко Е. *Яблоко*. М., 1960. С. 47.

⁴⁴ Евтушенко Е. *Взмах руки*. М., 1962. С. 231.

⁴⁵ БСЭ. 3-е изд. Т. 9. С. 30.

Интервенция



Березовые пальмы Европа

Термин «ренессанс», который часто прилагали к 60-м, предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему?

От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперед, но при этом все время оглядывалась. Потому что пафос ее выражала память.

Хрущев разрешил стране вспоминать еще на XX съезде. Когда после XXII съезда ему поверили – началась пора мемуаров.

Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной запутанной авантюрой, но в распоряжении тех, кто следил за ее развитием, наконец оказалась последняя страница.

Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал советской истории видимость завершенности. Россия – между Лениным и Хрущевым – казалась законченным эпизодом, как наполеоновская империя или гитлеровская Германия.

Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, создавая миф о прошлом.

От того, что возрождал ренессанс 60-х, зависело, каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества.

Среди множества мемуарных томов в 60-е вышли «Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвения» Катаева и главная – «Люди, годы, жизнь» Эренбурга.

Главная не потому, что самая лучшая, и не потому, что самая правдивая. Мемуары Эренбурга были программой строительства новой советской культуры. И именно так ее восприняли враги и друзья.

Сталинская культура – противоречивый клубок, составленный из Маяковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос.

На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль – сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях – от эпитета до архитектуры.

Враги народа, война, Сталин – все это придавало жизни отчетливый героический фон. На этом фоне был органичен даже нестигаемый секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую систему – Аяксы, Ахилл, Гектор...

Ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Эренбурга «Оттепель». Написанное в 1954 году и переведенное на множество языков (в том числе – финский, телугу, иврит), это произведение вряд ли справедливо оценили современники. По сути, и свои и зарубежные читатели удовлетворились одним названием – «Оттепель». Это слово, как «спутник», вошло в политический словарь и стало обозначать историческую веху.

Но все же, кроме заголовка, Эренбург написал и текст, очень характерный, даже символический. Автор, не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому эксплуатировать его идейную сущность. Герои Эренбурга вдохновлены конфликтом долга с чувством не в меньшей степени, чем персонажи Корнеля. Если конфликта нет, они мужественно борются, чтобы его создать.

«Моя жизнь – завод», – говорит отрицательный персонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо»⁴⁶, – вторит ему положительный. Теперь не так-то просто разобраться где кто, потому что классицистская поэтика всех объединила своей стихией.

Не важно, что происходит в повести, не важно, какие монологи произносят ее герои. Существенно лишь то, что хочет сказать автор. Потому что классицизм – это всегда аллегория.

В данном случае автор говорит, что любовь – не помеха повышению производительности труда. Или еще короче: объявляет, что наступила оттепель. То есть – цитирует название повести.

⁴⁶ Эренбург И. *Оттепель*. Собр. соч.: В 9 т. М., 1962–1967. Т. 6. С. 59, 11.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.